

МАРИЯ КОРЕЛЛИ

Роман о двух мирах



Магистраль. Коллекция

Мария Корелли

**Роман о двух мирах**

«ЭКСМО»

1886

УДК 821.111.31(73)

ББК 84(7Сое)

**Корелли М.**

Роман о двух мирах / М. Корелли — «Эксмо»,  
1886 — (Магистраль. Коллекция)

ISBN 978-5-04-247095-0

Молодая талантливая пианистка, страдающая от тяжелой депрессии и нервного истощения, по совету врача уезжает из Лондона в Канны. Там она встречает итальянского художника Рафаэлло Челлини, обладающего почти мистическим пониманием искусства и тайны цвета. Он говорит о том, кто может ей помочь, но путь к исцелению потребует от нее переосмысления всего, что она, как ей казалось, знала о самой реальности. Главная героиня едет в Париж, знакомится с загадочным целителем и мистиком Гелиобасом. Она проходит через экзотическое лечение, визионерские сны, которые постепенно исцеляют ее душу и тело. Переживая духовное пробуждение, она видит небесные видения, раскрывает тайны загробной жизни и открывает для себя любовь, которая выходит за пределы физического мира. Произведение сочетает в себе романтику, мистицизм и раннюю научную фантастику. Также Гелиобас появляется ещё в двух романах Марии Корелли – «Ардаф» и «Душа Лилит».

УДК 821.111.31(73)

ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-04-247095-0

© Корелли М., 1886

© Эксмо, 1886

## Содержание

Пролог	6
Глава I. В мастерской художника	8
Глава II. Таинственный напиток	13
Глава III. Три видения	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Мария Корелли

## Роман о двух мирах

Marie Corelli  
A ROMANCE OF TWO WORLDS  
1886

Иллюстрация и художественное оформление Анастасии Зининой.

© Глебовская А., перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

\* \* \*

## Пролог

Мы живем в эпоху торжества науки, а значит, и торжества просвещения. Прямо на наших глазах воплощаются в жизнь пророчества поэтов, дерзания ученых и философов – сказки становятся былью, но, несмотря на достижения разума и просвещения, которые доступны нам ежечасно, человечество все больше склоняется к неверию. «Бога нет! – восклицает один теоретик, – а если и есть, я не могу получить доказательств Его существования!» «Творца не существует! – подхватывает другой. – Вселенная всего лишь скопление атомов». «Бессмертие невозможно, – утверждает третий, – мы суть прах и во прах вернемся». «То, что идеалисты называют “душой”, – лишь витальная материя, состоящая из тепла и воздуха, которая в момент смерти покидает тело и воссоединяется со своими исконными элементами. Горящая свеча испускает свет; погаси свечу, и свет исчезнет – куда? Разве не безумие объявлять пламя свечи бессмертным? А ведь душа, вернее, витальная материя человеческого существования, ничем не отличается от пламени свечи».

Если задать этим теоретикам вечный вопрос: ПОЧЕМУ? – почему наш мир существует, почему создана вселенная, почему мы живем, почему думаем и к чему-то стремимся, почему в конце концов умираем? – их грандиозный ответ прозвучит так: «В силу существования Закона универсальной необходимости». Объяснить суть этого таинственного закона они не могут даже самим себе, не могут и копнуть достаточно глубоко, чтобы отыскать ответ на еще более грозное ПОЧЕМУ, а именно: ПОЧЕМУ существует Закон универсальной необходимости? Но их если не полностью, то частично удовлетворяют результаты их собственных размышлений, и они крайне редко устремляются мыслью за пределы этой великой расплывчатой бескрайней Необходимости – из страха, что их ограниченный разум ввергнется в безумие даже худшее, чем смерть. Соответственно, сознавая, что в нашу просвещенную эпоху мыслители всех стран постепенно окружают стеной скептицизма и цинизма все представления о Сверхъестественном и Незримом, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мой рассказ о событиях, не так давно случившихся со мною лично, будет воспринят с недоверием. Я, безусловно, сознаю, что во времена, когда великая империя Христианской Религии постоянно подвергается нападкам или учтивому игнорированию со стороны чиновников, общественных деятелей и педагогов, попытка доказать – даже правдиво изложив историю странных событий, в которых ты сам участвовал, – что вокруг нас существует Сверхъестественное, будет воспринята как величайшая дерзость; так же будет воспринято и желание возвестить с полнейшей уверенностью о грядущем состоянии, в каком окажется каждый живущий, пройдя через краткий период оцепенения души и замирания функций тела, известный нам как Смерть.

Я не жду, что кто-то поверит в истинность этого повествования, которое я специально назвала «романом», ибо рассказать я могу лишь то, что пережила лично. Знаю, что мои современники и современницы нуждаются в доказательствах или в том, что они готовы принять за доказательства: только после этого им будет дано поверить в то, что имеет отношение к жизни духа, в нечто невероятное, в непознаваемое чудо, которое, если верить пророчеству, недоступно им в силу их ограниченности. Лишь немногие способны воспринять те тонкие воздействия, то бесспорное, хотя и загадочное влияние, которое оказывает на их жизнь разум порядка высшего, чем их собственный – разум незримый, неведомый, лишь ощутимый. Да! Его ощущают даже самые беспечные и самые циничные: через мучительное предчувствие опасности, внутренние предвестия вины – через нравственные и умственные муки, которые вынуждены терпеть те, кто ведет затянувшуюся битву, дабы достигнуть в душе заслуженной победы добра над злом – через тысячи призывов, с которыми обращаемся мы нежданно к этому компасу жизни человеческой, Совести; ощущается оно и в блистательных, изумительных порывах великодушия, отваги и самопожертвования, которые зовут нас, заставляя забывать о послед-

ствиях, свершать великие и доблестные деяния, наполняющие весь мир звучными отголосками славы – деяния, что заставляют нас удивляться себе даже в момент их совершения, проявления героизма, когда сама жизнь ни во что не ценится, а Душа обретает краткий миг торжества, слепо повинувшись водительству чего-то, что сродни ей самой, но пребывает в более высоких чертогах Мысли.

Существованию подобных вещей нет никаких доказательств, однако подлинность их бесспорна. Чудеса наших дней безмолвны и творятся лишь в умах и сердцах человеческих. Неверие почти безраздельно воцарилось в современном мире. Даже если в центр просторной площади спустится с небес ангел, толпа решит, что он предварительно поднялся ввысь с помощью тросов и блоков, и попытается отыскать этот механизм. А если он в гневе уничтожит неверующих, если крылья его вспыхнут пламенем и тысячи сгинут от одного дрожания его пера, те, что останутся в живых, скажут, что произошел мощный взрыв динамита или что площадь находилась над потухшим вулканом, который внезапно ожил. Все что угодно, только бы не верить в ангелов – девятнадцатое столетие бунтует против самой возможности их существования. Не умеет оно видеть чудеса и презрительно отмахивается от трепета, способного их сотворить.

– Дайте нам неоспоримый знак, – заявляет оно. – Докажите неопровержимо свою правоту – и тогда я, наперекор Прогрессу и Теории Атома, вам поверю.

Ответ на эти слова был произнесен тысячу восемьсот с лишним лет назад: «О, род неверный и развращенный! Ты взыскуешь знамения, но не будет оно тебе даровано»<sup>1</sup>.

Если я сейчас скажу, что МНЕ это знамение было даровано – мне, одной из тысяч его взыскующих, – столь дерзновенное заявление натолкнется на суровый отпор со стороны всех, кто станет переворачивать следующие страницы; каждый, кто станет читать их, имеет собственное мнение по всем предметам и, разумеется, считает его наилучшим, а то и единственно верным. Засим хочу сказать сразу, что не собираюсь в этой книге доказывать никаких теорий из области религии и философии и не несу ответственности за то, что будет высказано моими персонажами. У меня одна цель: позволить фактам говорить за себя. Если кому-то они покажутся странными, невероятными и даже невозможными, могу лишь сказать, что те, чьи мысли и побуждения ограничены пределами здешнего бытия, всегда рассматривали явления незримого мира только в таком ключе.

---

<sup>1</sup> Смешанная цитата из Евангелия от Луки, гл. 9, стих 41 и Евангелия от Матфея, гл. 12, стих 39. (Прим. ред.)

## Глава I. В мастерской художника

Зимой 188... года меня терзали сразу несколько нервных недугов, вызванных непосильным трудом и бесконечными тревогами. Самым назойливым из этих недугов стала продолжительная мучительная бессонница, сопровождавшаяся крайней подавленностью и сильнейшей тревогой. Меня мучили тягостные предчувствия, и организм постепенно дошел до такой степени физического и душевного расстройств, что даже тихие и умиротворяющие голоса друзей стали вызывать во мне лишь нервозность и раздражение. Мне пришлось оставить работу; музыка, единственная моя страсть, сделалась невыносимой; книги утомляли зрение, и даже короткая прогулка на свежем воздухе вызывала такую немощь и упадок сил, что вскорости мне стала тягостна сама мысль о том, чтобы выйти из дома. Стало ясно, что мне необходима медицинская помощь, и опытный, обаятельный доктор Р., известный специалист по нервным болезням, пользовал меня много недель, но без малейшего успеха. Его, беднягу, нельзя винить в том, что лечение его не принесло плодов. Он знал единственный метод врачевания и применял его ко всем пациентам, с более или менее удовлетворительным результатом. Одни умирали, другие поправлялись – это была лотерея, в которой мой друг-эскулап ставил на кон свою репутацию и выигрывал. Умершие пациенты не могли ничего поведать, а поправившиеся повсюду восхваляли своего спасителя, посылали ему в дар серебряные блюда и корзины с вином, тем самым выражая свою признательность. Известность его была велика, он считался великолепным специалистом, а его неспособность помочь лично мне проистекала, я полагаю, из некоего дефекта или тайного сопротивления моего собственного организма, каковые стали для доктора совершенно новым опытом, к которому он оказался не готов. Бедный доктор Р.! Сколько пузырьков ваших, приятных на вкус и дорогих снадобий я проглотила со слепой верой и еще более слепым неведением касательно того, какие оскорбления наношу принципам своей внутренней природы, которая, если дать ей волю, способна сама героически сражаться за то, чтобы восстановить исконное равновесие и излечиться самостоятельно; но, если подвергнуть ее экспериментам со всевозможными ядами и препаратами, силы ее иссякают в этом неестественном состязании, она чахнет, и порой не дано ей более возродиться к былой бодрости. Озадаченный бесплодностью своих попыток меня излечить, доктор Р. в итоге прибегнул к тому, к чему прибегают все лекари, если лечение не дает результата. Он порекомендовал мне сменить обстановку и настоял на отъезде из Лондона, затянутого мрачным покровом угрюмых зимних туманов, к радостям, солнцу и розам Ривьеры. Мне и самой затея эта пришлась по душе, поэтому я решила последовать его совету. Прослышав о моих намерениях, мои американские друзья, полковник Эверард и его очаровательная молодая жена, решили меня сопровождать, чтобы помимо прочего разделить расходы на дорогу и проживание. Из Лондона мы выехали все вместе, сырым и туманным вечером, таким студеным, что воздух будто вгрызался в тело острыми звериными зубами, и после двух дней стремительных передвижений, по ходу которых дух мой постепенно воспрянул, а мрачные предчувствия исчезли одно за другим, мы прибыли в Канны, где остановились в отеле Л. Место было прелестное, отличавшееся изумительным расположением: в запущенном саду цвели розы, аллея была обсажена апельсиновыми деревьями – они только начинали цвести и наполняли дивный теплый воздух тонким ароматом.

Миссис Эверард была в восторге.

– Боюсь, что, если вы и здесь не поправитесь, случай ваш безнадежный, – произнесла она шуточно на второе утро после нашего приезда. – Какой солнечный свет! Какой нежный ветерок! Тут любой калека отбросит костыли и позабудет о своей хромоте. Вы со мною согласны?

Я в ответ лишь улыбнулась, вздохнув про себя. Да, виды, воздух и все наше окружение были прелестны, но я не могла не заметить, что временный подъем настроения, вызванный новизной впечатлений на пути в Канны, начинает медленно, но верно иссякать. Невыносимая

апатия, с которой я боролась столько месяцев, вновь овладевала мною со всей своей неодолимой безжалостностью. Я как могла сопротивлялась: совершала прогулки, ездила верхом, болтала и смеялась с миссис Эверард и ее мужем, принуждала себя к общению кое с кем из постояльцев, с теми, что были настроены благожелательно. Я призвала на помощь всю силу воли, чтобы отгонять волны физической и душевной немощи, которые грозили полностью пресечь ток моей жизни; в некоторых из этих начинаний я отчасти преуспела. Но отчетливее всего ужасы моего положения являлись мне по ночам. Тогда сон бежал прочь, голову терновым венцом сжимало кольцо тупой пульсирующей боли; я с головы до ног сотрясалась от нервной дрожи, в ушах с утомительной навязчивостью звучали обрывки собственных моих музыкальных сочинений – и, слушая их, я впадала в мучительное состояние, ибо никак не могла вспомнить, чем они заканчиваются, вотще вслушивалась в переливы и трели, которые никак не складывались в сколь бы то ни было убедительный финал. Дни проходили один за другим; для полковника Эверарда и его жены они были наполнены радостью, удовольствием, поездками по интересным местам. Для меня – хотя я и участвовала в общих удовольствиях – дни эти были омрачены все нараставшими унынием и отчаянием; я постепенно утрачивала надежду на то, что когда-то вновь обрету силы и бывшее цветущее здоровье, а самое главное – я полностью утратила способность работать. Я была молода, еще несколько месяцев тому назад передо мной простиралась прекрасная жизнь и прекрасное профессиональное поприще. А что теперь? Я превратилась в беспомощного инвалида, бремя для себя и других – в сломанную мачту, которую, вместе с иными обломками потерпевшего крушение корабля жизнь носит по бескрайнему океану Времени: скоро их поглотят пучина и забвение. Впрочем, спасение мое было близко: спасение нежданное и удивительное, какое не могло мне явиться и в самых смелых мечтах.

Одновременно с нами в том же отеле остановился молодой художник-итальянец по имени Рафаэлло Челлини. Совсем недавно картины его начали привлекать к себе благосклонное внимание римлян и парижан, не только по причине безупречности рисунка, но и в силу изумительно тонкой работы с цветом. Он умел переносить на свои полотна столь теплые, насыщенные и богатые оттенки, что его коллеги по ремеслу, не столь виртуозно владевшие палитрой, объявили, что он, видимо, изобрел некий новый компонент, который делает используемые им пигменты богаче и ярче; moreover, говорили они, эффект этот недолговечен, и через восемьдесят лет картины его под влиянием дневного цвета начнут стремительно выцветать, останутся лишь смутные очертания. Другие, более благожелательные, поздравляли его с тем, что он заново открыл секреты старых мастеров. Говоря коротко, его превозносили и клеймили, ему льстили и завидовали – все одновременно; сам же он, будучи человеком отменно уравновешенным и невозмутимым, работал, не переставая, почти или совсем не обращая внимания на мирскую хвалу и хулу.

В отеле Л. у Челлини был очень милый номер из нескольких комнат, и мои друзья, полковник и миссис Эверард, свели с юным художником тесное знакомство. Он вполне охотно ответил на их расположение, и в результате его мастерская превратилась для нас в своего рода гостиную – мы там пили чай, беседовали, рассматривали картины или обсуждали планы новых удовольствий. Как это ни странно, визиты в мастерскую Челлини очень благотворно и умиротворяюще подействовали на мои расстроенные нервы. Сама мастерская, просторная и элегантная, обставленная с «художественным беспорядком», со смешанной роскошью, столь любезной творческим людям, – тяжелые бархатные шторы, блеск мраморных бюстов и разбитых колонн, пышность и аромат цветов в крошечной оранжерее, которая примыкала к мастерской и вела в сад, где мелодично звенел фонтан, – все это было мне по сердцу и давало необъяснимое, но столь желанное ощущение полного покоя. Челлини и сам относился ко мне с интересом, по той же причине. Приведу пример: помню, однажды я ускользнула от миссис Эверард и укрылась в самой безлюдной части сада, чтобы побыть там в одиночестве и успокоить разыгравшиеся нервы – приступ настиг меня внезапно. Я в лихорадочном возбуждении металась по дорожкам

и вдруг увидела, что ко мне идет Челлини, задумчиво склонив голову и сцепив руки за спиной. Приблизившись, он поднял глаза – ясные, подобные черным бриллиантам – и взгляделся в меня с благожелательной улыбкой. Потом, со свойственным итальянцам почтительным изяществом приподняв шляпу, он двинулся дальше, не сказав ни слова. Однако на меня эта мимолетная встреча оказала изумительное, будто бы ЭЛЕКТРИЗУЮЩЕЕ воздействие. Тревога унялась. Спокойной, умиротворенной и почти счастливой возвратилась я к миссис Эверард и с воодушевлением поинтересовалась, каковы ее планы на день, чем вызвала ее изумление и восторг

– Если так и дальше пойдет, через месяц вы полностью поправитесь, – заметила она.

Я решительно не понимала сути целительного воздействия на меня Рафаэло Челлини, но не могла не испытывать благодарности за то, что оно давало мне возможность передохнуть от нервного расстройства. Ежедневные визиты к нему в мастерскую стали теперь целительным удовольствием, от которого я не в силах была отказаться. Более того, мне не надоедало рассматривать его картины. Сюжеты все до одного были совершенно оригинальными, встречались среди них чрезвычайно причудливые и фантастические. Особенно меня приковало к себе одно большое полотно. Называлось оно «Властины жизни и смерти». На нем был изображен наш мир, в виде шара, наполовину залитого светом, наполовину скрытого в тени, окруженного клубами облаков – местами с серебряной окантовкой, местами в красных сполохах пламени. Над миром воздвигнулся могущественный Ангел, на его благородном невозмутимом лице отражались одновременно глубокая скорбь, пронзительное сострадание и бескрайнее сожаление. На опущенных ресницах благожелательного, но строгого духа сверкали слезы, а в могучей правой руке держал он обнаженный меч – меч возмездия, – направленный вниз, на обреченный земной шар у него под ногами. Фоном Ангелу и миру, над которым он воздвигся, служила тьма – непроглядная и бесконечная. Выше, впрочем, тучи слегка расступились, и меж ними в прозрачном облаке золотистой дымки проглядывало лицо несказанной красоты – лицо, сияющее неугасимым светом юности, здоровья, надежды, любви и экстатического счастья. То было воплощение Жизни – не той, которая ведома нам, краткая и исполненная горестей – но Жизни Вечной и Жизни Торжествующей. Я раз за разом останавливалась перед этим шедевром Челлини и вглядывалась в него не только с восхищением, но и с чувством нежданного умиротворения. Однажды – я в тот день расположилась в любимом кресле напротив картины – я очнулась от задумчивости и, повернувшись к художнику, который как раз показывал миссис Эверард какие-то акварельные наброски, спросила, не подумав:

– А лицо Ангела Жизни вы сами придумали, синьор Челлини или у вас была модель?

Он посмотрел на меня с улыбкой.

– Перед вами сносная копия существующего оригинала, – ответил он.

– Полагаю, это женское лицо? Она, видимо, очень красива!

– Подлинная красота не имеет пола, – ответил Челлини и умолк. Лицо его сделалось мечтательным, отрешенным, наброски, на которые смотрела миссис Эверард, он перебирал так, что было ясно: мысли его далеко.

– А Ангел Смерти? – не отступала я. – У вас и для него была модель?

Тут на лице его мелькнуло облегчение, едва ли не радость.

– Для него нет, – ответил он охотно и искренне. – Это всецело плод моего воображения.

Я хотела было сделать комплимент величию и силе его поэтической фантазии, но он остановил меня отрывистым жестом руки.

– Если вам действительно нравится эта картина, пожалуйста, не высказывайтесь об этом вслух, – попросил он. – Если это подлинное произведение искусства, пусть оно говорит с вами на языке искусства, но избавьте бедного ремесленника, давшего ему материальное воплощение, от необходимости сознавать, что работа его не выше людской похвалы. Единственной подлинной оценкой высокого искусства служит молчание – столь же возвышенное, как сами небеса.

Он говорил веско, его темные глаза сверкали. Эми – миссис Эверард – взглянула на него с любопытством.

– Ну надо же! – воскликнула она, звонко рассмеявшись. – А вы эксцентричны, синьор! Рассуждаете, прямо как длинноволосый пророк! Я в жизни еще не встречала художника, который терпеть не может похвалы; наоборот, я зачастую с удивлением наблюдаю за тем, сколько неудобоваримой сласти они в состоянии проглотить, не подавившись. А вы, я гляжу, исключение. С чем я вас и поздравляю!

Челлини ответил поклоном на ее полудружеский-полунасмешливый реверанс и, вновь повернувшись ко мне, заметил:

– Мадемуазель, я хочу попросить вас об одолжении. Не согласитесь ли позировать мне для портрета?

– Я? – воскликнула я в изумлении. – Синьор Челлини, я не понимаю, зачем вам тратить на это ваше столь ценное время. У меня самое обычное лицо, оно совершенно не заслуживает вашего внимания.

– Простите, мадемуазель, если я позволю себе с вами не согласиться, – ответил он серьезно. – Мне очень бы хотелось перенести ваши черты на полотно. Я знаю, что здоровье у вас хрупкое, что лицо ваше лишено округлости и красок, каковыми обладало ранее. Но я не поклонник красоты, присущей молочницам. Меня занимают ум, мысль, одухотворенность – говоря короче, мадемуазель, лицо у вас из тех, на которых отражены многочисленные душевные терзания, и в связи с этим могу я повторить свою просьбу уделить мне немного времени. **УВЕРЯЮ ВАС, ВЫ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ.**

Последние слова он произнес тихо и крайне внушительно. Я встала с кресла и устремила на него взгляд; он ответил тем же, по телу моему прошла дрожь странного азарта, за которой нахлынуло то самое ощущение бесконечного покоя, которое я испытывала и раньше. Я улыбнулась – просто не смогла удержаться от улыбки.

– Я готова начать завтра, – ответила я.

– Миллион благодарностей, мадемуазель! Удобно ли вам будет в полдень?

Я бросила вопросительный взгляд на Эми, которая с восторгом и энтузиазмом захлопала в ладоши.

– Разумеется! Когда вам будет угодно, синьор. Мы подстроим время экскурсий, чтобы они не мешали вашим сеансам. Нам будет очень интересно наблюдать, как картина совершенствуется день ото дня. Как вы ее назовете, синьор? Вы собираетесь дать ей какое-то причудливое название?

– Все зависит от конечного результата, – ответил он, распахнул двери мастерской и поклонился нам с обычной своей безупречной церемонностью.

– Au revoir, madame! A demain, mademoiselle! <sup>2</sup>

Мы вышли, и бархатные фиолетовые портьеры мягко сомкнулись у нас за спиной.

– Вам не кажется, что в этом молодом человеке есть нечто странное? – спросила миссис Эверард, когда мы шагали по длинной галерее отеля Л. обратно к себе в номера. – Нечто то ли ангельское, то ли дьявольское, а может, понемножку и того и другого.

– Мне кажется, ему подходит определение НЕОБЫЧАЙНЫЙ – к нему прибегают те, кто не в состоянии постичь чужую поэтичность и одаренность, – ответила я. – Он действительно ни на кого не похож.

– Да уж! – задумчиво согласилась моя подруга, оглядывая свое дивное кукольное личико и грациозную фигурку в большом зеркале, удачно поставленном в углу зала, через который мы проходили. – Могу сказать одно: СВОЙ портрет я бы ему ни за что не позволила писать,

---

<sup>2</sup> До свидания, мадам! До завтра, мадемуазель! (*фр.*) – Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, *прим. пер.*

сколько бы он ни просил! Я бы до смерти испугалась. Странно, что вы, с вашей нервностью, совсем его не боитесь.

– Мне казалось, вам он по душе, – заметила я.

– Совершенно верно. Моему мужу тоже. Он такой обаятельный, умный и все такое – но его разговоры! Вы же не станете возражать, душенька, что в нем есть некая СТРАННОСТЬ? Позвольте, ну разве станет нормальный человек утверждать, что молчание – единственная оценка искусства? Разве это не полная чепуха?

– Единственная ПОДЛИННАЯ оценка, – поправила я ее мягко.

– Но это ведь то же самое. Разве может молчание служить оценкой? Его послушать – если мы чем-то от всей души восхищаемся, нам полагается сделать постные физиономии и поджать губы. Это же просто смехотворно! И что там такое ужасное он вам сказал?

– Я вас не вполне понимаю, – ответила я. – Не припомню, чтобы он говорил мне что-то ужасное.

– А, я вспомнила! – тут же откликнулась Эми. – Совершенно жуткая вещь! Он сказал, у вас ЛИЦО ИЗ ТЕХ, НА КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДУШЕВНЫЕ ТЕР-ЗАНИЯ. Это же просто мистика какая-то! И когда он это говорил, взгляд у него был просто пугающий! Интересно, что он имел в виду?

Я не ответила, хотя, кажется, знала ответ. При первой же возможности я сменила тему беседы, и моя ветреная подруга-американка с готовностью углубилась в обсуждение нарядов и украшений. Та ночь стала для меня блаженством: никаких страданий, я спала как младенец и в моих снах мне улыбалось лицо «Ангела жизни» Челлини, будто бы призывая покой.

## Глава II. Таинственный напиток

На следующий день, ровно в полдень я, как и обещала, вошла в мастерскую. Пришла я туда одна, без Эми – немного помучившись угрызениями совести на предмет благопристойности и своих обязанностей дуэньи, моя миссис Гранди<sup>3</sup> все-таки последовала моему совету и отправилась кататься с какими-то друзьями. Хотя мефистофельские качества Рафаэлло Челлини и внушали ей определенные опасения, в одном ни у меня, ни у нее не возникло никаких нравственных сомнений: трудно себе представить столь же безупречного и порядочного джентльмена. Даже самая привлекательная и самая одинокая барышня не ощутила бы с ним рядом ни малейшей угрозы – она была бы, подобно сказочной принцессе, укрыта в неприступной башне, ключ от которой имелся лишь у загадочного дракона. Когда я пришла, в комнатах никого не было, если не считать великолепного ньюфаундленда, который поднялся мне навстречу и, встряхнувшись всем своим мохнатым телом, подошел, сел рядом и подал мне огромную лапу, самым благожелательным образом виляя хвостом. Я тут же откликнулась на его сердечное приветствие и, поглаживая великолепную голову, все гадала о происхождении этого животного; дело в том, что хотя мы ежедневно заходили в мастерскую синьора Челлини, мы ни разу не видели этого его величавого кареглазого четвероногого спутника, да и упоминаний о нем не слышали. Я села, пес тут же улегся у моих ног; он время от времени дружелюбно на меня поглядывал и снова начинал вилять хвостом. Окинув взглядом уже ставшую привычной мастерскую, я подметила, что столь понравившаяся мне картина забрана куском восточной ткани, в которую вплетены золотые нити, перемешанные с шелковыми, ослепительных цветов. На мольберте стоял большой квадратный холст, полностью подготовленный – судя по всему, именно на него и предполагалось перенести черты моего лица. Утро выдалось довольно жаркое, и хотя окна и стеклянные двери оранжереи стояли открытыми настежь, в мастерской было очень душно. На столе я заметила графин из венецианского стекла чрезвычайно изысканной работы, в нем соблазнительно поблескивала чистая вода. Я поднялась с кресла, взяла с каминной полки старинный серебряный кубок, наполнила прохладной жидкостью и уже поднесла было к губам, но тут его вырвали у меня из рук и рядом прозвучал голос Челлини, только вместо обычной мягкости в нем слышалась повелительность.

– Не пейте! – приказал он. – Ни в коем случае! Не смейте! Я вам запрещаю!

Я взглянула на него в немом изумлении. Лицо его побледнело, огромные темные глаза пылали от сдерживаемого волнения. Ко мне постепенно вернулось самообладание, и я ровным тоном произнесла:

– Вы мне запрещаете, синьор? Боюсь, вы забываетесь. Что такого, если я выпью у вас в мастерской стакан простой воды? Обычно вы более гостеприимны.

Тут манера его переменилась, на щеки вернулся румянец, взгляд смягчился, на губах показалась улыбка.

– Прошу меня простить, мадемуазель, за резкость. Я действительно на миг забылся. Но вам грозила опасность и...

– Опасность? – недоверчиво воскликнула я.

– Совершенно верно, мадемуазель. Здесь, – он поднял венецианский графин к свету, – не просто вода. Если вы посмотрите на содержимое в солнечном свете, вы, полагаю, заметите в нем нечто необычайное – и это подтвердит мою правоту.

---

<sup>3</sup> *Миссис Гранди* – имя нарицательное для крайне чопорных и озобоченных благопристойностью особ; происходит от имени персонажа комедии Томаса Мортонна «Быстрой за плугом» (1798).

Я посмотрела и с удивлением увидела, что жидкость ни на миг не остается в покое. От некоего источника в середине постоянно разбегались пузырьки, время от времени появлялись алые и золотые полоски.

– Что это? – удивилась я, а потом добавила с полуулыбкой: – Неужто вы – обладатель достославной аква-тофаны? <sup>4</sup>

Челлини аккуратно поставил графин на полку, причем я заметила, что он выбрал место, где лучи солнца падали на него под прямым углом. Потом он повернулся ко мне и ответил:

– Аква-тофана, мадемуазель, это смертоносный яд, известный как древним, так и многим ученым-химикам современности. Прозрачная бесцветная жидкость, при этом совершенно неподвижная – этим она подобна стоячему пруду. То, что я вам только что показал, никакой не яд, скорее наоборот. И я готов немедленно вам это доказать.

Он взял с бокового столика рюмочку, наполнил ее странной жидкостью и тут же выпил, после чего аккуратно закрыл графин пробкой.

– Но, синьор Челлини, если жидкость эта безвредна, почему вы запрещаете мне ее даже попробовать? – стояла на своем я. – Почему говорите, что для меня в ней таится опасность?

– Потому что для ВАС, мадемуазель, она там действительно таится. У вас слабое здоровье, нервы ваши расстроены. Этот эликсир является сильнодействующим тоником, который оказывает моментальное воздействие на весь организм и растекается по жилам со скоростью ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Я к нему привык и принимаю его ежедневно, как лекарство. Но начинал я с очень малых, почти неощутимых доз. Поверьте, мадемуазель: одна ложка этой жидкости, если ее примет человек неподготовленный, способна вызвать мгновенную смерть, хотя на деле эликсир призван укреплять и приумножать жизненные силы. Вы теперь поняли, почему я сказал, что вам грозит опасность?

– Безусловно, – подтвердила я, хотя, признаться честно, на деле была озадачена и заинтригована.

– Вы простите мне мою мнимую грубость?

– Разумеется! Однако вы раздражили мое воображение. Я хотела бы побольше узнать об этом вашем загадочном лекарстве.

– Узнаете, если захотите, – ответил Челлини, к которому сполна вернулось обычное добродушие и хорошее настроение. – Узнаете все, только не сегодня. Слишком у нас мало времени. Я пока даже не начал работать над вашим портретом. Да, и я забыл – вас мучает жажда, а я, как вы правильно подметили, нарушил законы гостеприимства. Позвольте исправить мою оплошность.

Любезно поклонившись, он вышел и почти сразу вернулся с кувшином, наполненным ароматной жидкостью золотистого цвета, в которой поблескивали, маня свежестью, кусочки льда. На поверхности заманчивого питья плавали лепестки розы.

– Этим можете наслаждаться без всякой опаски, – произнес Челлини с улыбкой, – оно вам пойдет только на пользу. Это вино с Востока, неведомое даже специалистам – а значит, его не подделывают. Смотрю, вы разглядываете розовые лепестки на поверхности. Это персидская традиция, которая мне кажется очень милой. Когда пьешь, они уплывают в сторону и не мешают.

Я попробовала вино – оно оказалось восхитительным, мягким и нежным на вкус, точно свет летней луны. Я пригубила бокал, и тут ньюфаундленд, который после того, как вошел Челлини, растянулся на коврике перед камином, поднялся, прошествовал в мою сторону и нежно потерся головой о складки моего платья.

---

<sup>4</sup> *Аква-тофана* – сильнодействующий и трудноопределимый жидкий яд, названный по имени придумавшей его неаполитанской отравительницы Теофании де Адамо, жившей на рубеже XV и XVI веков.

– Смотрю, вы с Лео подружились, – заметил Челлини. – Считайте, что вам сделали величайший комплимент, ибо Лео крайне разборчив, но совершенно непоколебим в своем выборе. Характеры он умеет читать лучше большинства государственных сановников.

– А почему я никогда его раньше не видела? – осведомилась я. – Вы ни разу не упоминали, что у вас есть такой изумительный любимец.

– Я ему не хозяин, – ответил художник. – Просто он иногда удостаивает меня своим обществом. Вчера вечером он прибыл из Парижа и напрямик направился сюда, зная, что ему будут очень рады. Мне он не поверяет своих планов, но полагаю, что он вернется в свой дом, когда сочтет это нужным. Он сам решает, как поступать.

Я засмеялась:

– Какой умный пес! А он путешествует пешком или на поезде?

– Насколько мне известно, он предпочитает железную дорогу. Там его знают все сотрудники, и он, не раздумывая, садится в купе к охране. Иногда сходит с поезда на полпути и дальше следует пешком. Если же его одолевает лень, он доезжает на поезде до самой конечной точки. Примерно раз в полгода хозяин Лео получает от железной дороги счет за его странствия и пунктуально его оплачивает.

– А кто он, его хозяин? – поинтересовалась я.

Челлини сосредоточился, взгляд его стал серьезным и задумчивым.

– У нас с ним, мадемуазель, один и тот же повелитель – умнейший из людей, бескорыстнейший из наставников, беспристрастнейший из мыслителей, неподкупнейший из друзей. Я ему обязан всем, даже жизнью. Ради него я готов пойти на любые жертвы, готов ему поклоняться безраздельно – и даже этого будет мало, чтобы выразить мою благодарность. Но он настолько же выше человеческой признательности и человеческих наград, насколько солнце стоит выше моря. Не здесь и не сейчас дерзну я сказать ему: «ДРУГ, УЗРИ, СКОЛЬ СИЛЬНО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!» – ибо слова эти будут слишком мелочны и незначительны; а вот после – кто знает?.. – он осекся, слегка вздохнув. А потом, будто с усилием изменив направление собственных мыслей, продолжил тоном куда более приятным: – Однако, мадемуазель, я попусту трачу ваше время и не воздаю должного чести, которую вы мне оказали, придя ко мне сегодня. Не соблаговолите ли сесть вон туда? – И он поставил в одном из углов, напротив мольберта, изящное креслице из резного дуба. – Мне крайне неудобно вас утомлять, – продолжил он. – Любите ли вы чтение?

Я с готовностью закивала, и он протянул мне книгу в причудливом переплете из тисненой кожи, с серебряными уголками. На обложке значилось: «Письма мертвого музыканта».

– В этой книге вы обнаружите подлинные жемчужины мысли, страсти и чувства, – заметил Челлини. – А поскольку вы и сами музицируете, вам все это наверняка придется по душе. Писатель был одним из тех гениев, которым мир отплатил презрением и насмешками. Сколь завидная участь!

Я с удивлением посмотрела на художника, взяла предложенную книгу и села, приняв указанную им позу; пока он поправлял служивший мне фоном бархатный занавес, я спросила:

– А вы, синьор Челлини, действительно считаете, что презрение и насмешки – это завидная участь?

– Безусловно, – ответил он, – ибо это верный знак того, что вас не понимают. Достичь того, что превыше человеческого понимания – вот в чем подлинное величие. Сравняться в духовности и безмятежности с богочеловеком Христом – пусть тебя распнет улюлюкающая толпа, которой позже суждено узреть свет и величие Его учения, что может быть великолепнее? Выразаться бесподобным слогом Шекспира, которого почти не признавали при жизни, однако дарования его были столь обширны и разнообразны, что толпы глупцов по сей день не могут уняться, обсуждая подлинность и принадлежность его пьес, – мыслим ли больший триумф? Познать, что собственная твоя душа способна, если подкрепит ее сила воли, возне-

стись на невообразимую высоту могущества – разве не способно это примирить с мелочным верещанием человеческого стада, давно забывшего, есть ли в нем хоть искра духовности – пока оно, напрягая зрение, пытается разглядеть свет гениальности, что непереносимо ярко для ее затуманенных мирской пошлостью глаз, пока оно не воскликнет: «МЫ ничего не видим – значит, ничего и НЕТ!» Ах, мадемуазель, открыть собственное внутреннее бытие – все равно что открыть все чудеса науки и искусства!

Челлини говорил с воодушевлением, лицо светилось, озаренное жаром красноречия. Я слушала со своего рода сновидческим удовлетворением: на меня снизошло ощущение полного покоя, которое я всегда испытывала в его присутствии, и я с интересом наблюдала за тем, как он стремительными и ловкими движениями набрасывает на холсте очерк моего лица.

Он постепенно углубился в работу, время от времени поглядывал на меня, но молча, лишь карандаш не прекращал стремительного движения. Я не без любопытства обратилась к «Письмам мертвого музыканта». Несколько пассажей поразили меня своей оригинальностью и глубиной мысли, но, когда я вчиталась, наиболее впечатляющим показался мне тон безграничной радости и умиротворенности, озарявший буквально каждую страницу. Не было в этой книге стенаний по поводу неудовлетворенного тщеславия, сожалений о былом, не было жалоб, критики, ни слова против собратьев по искусству; автор обо всем судил с заслуживающей уважения позиции достойнейшего равенства, вот разве что когда заговаривал о самом себе, то делался смиреннейшим из смиренных – хотя и не удрученным, а все столь же счастливым.

«О музыка! – писал он. – Музыка, Сладчайший Дух служения Господу, что я такое сделал, что ты столь часто ко мне снисходишь? Право же, негоже тебе, Могущественная и Божественная, опускаться до утешения ничтожнейшего из твоих слуг. Ибо не хватает мне искусности поведать миру, сколь воздушен шелест твоих крыльев, сколь нежен вздох, слетающий с твоих уст, сколь несказанно прекрасен трепет тишайшего твоего шепота! Оставайся в далеких далях, о Избранное Средоточие Голоса Создателя, оставайся в чистейшем безоблачном эфире, где лишь тебе пребывать пристало. Ибо прикосновение мое тебя принизит, мой голос отпугнет. Слуге твоему, о Возлюбленная, довольно и того, чтобы грезить о тебе, а после умереть!»

Дочитав, я встретила взглядом с Челлини и спросила:

– А вы были, синьор, знакомы с автором этой книги?

– Я был с ним близко знаком, – ответил художник, – и он обладал нежнейшей душой из всех, что пребывали в нашей брэнной юдоли. Музыка его была столь же неземной, как и поэзия Джона Китса <sup>5</sup>, и был он из тех, кто рожден из мечтаний и восторгов – такие редко оказываются на этой планете. О счастливец! Какая ему выпала смерть!

– И как же он умер? – спросила я.

– Он играл на органе в одном из великих римских соборов в день Покрова Богородицы. Прекрасно спевшийся хор исполнял под его аккомпанемент «Regina Caeli» <sup>6</sup> на сочиненную им мелодию. Музыка была великолепна, ошеломительна, проникновенна – мощь ее и величие все нарастали к изумительному финалу, и тут вдруг раздался негромкий раскат грома; орган стих, певцы смолкли. Музыкант был мертв. Он упал на клавиатуру инструмента, и когда его подняли, оказалось, что лицо его прекраснее лица любой ангельской статуи – совершенно безмятежное, оно было озарено восторженной улыбкой. Точную причину его смерти так и не установили – он всегда отличался крепким здоровьем. Все твердили, что у него большое сердце – эскулапы всегда именно на это и ссылаются, если человек внезапно покидает наш мир. Все скорбели о его уходе – кроме меня и еще одного любившего его сердца. Мы-то радовались – и по-прежнему радуемся – его освобождению.

---

<sup>5</sup> Джон Китс (1795–1821) – английский поэт-романтик, воспевавший красоту и одухотворенность мира.

<sup>6</sup> «Regina Caeli» (Царица Небесная) – католический гимн, восславляющий Пресвятую Деву; обычно исполняется во время пасхальной литургии.

Я задумалась над смутным смыслом его последних слов, но расспрашивать не решилась, а Челлини, видимо заметив это, продолжил работу, более не вступая со мной в беседу. Веки мои отяжелели, слова на странице «Писем мертвого музыканта» заплясали перед глазами, точно черные дьяволята с тощими ножками и ручками. Меня окутала странная, хотя и весьма приятная дрема, я слышала жужжание пчел за открытым окном, пение птиц и голоса людей в отельном садике – все они сливались в непрерывный и вроде как далекий гул. Я видела солнечный свет и тень – видела, как великолепный Лео во всю длину растянулся рядом с мольбертом, видела худощавую фигуру Рафаэлю Челлини, четко вырисовывавшуюся на светлом фоне; вот только все это странным образом сливалось в некое свечение, в котором не было ничего, кроме изменчивых оттенков цвета. И то ли мне привиделось, то ли с моей любимой картины действительно сползла скрывавшая ее ткань – сползла ровно настолько, чтобы мне предстало улыбочивое лицо «Ангела жизни»? Я принялась растирать глаза, а услышав голос художника, вскочила на ноги.

– Довольно мне на сегодня испытывать ваше терпение, – произнес он. Слова звучали глухо, словно из-за толстой стены. – Если хотите, можете быть свободны.

Я стояла перед ним, плохо себя сознавая, и по-прежнему сжимала в руке книгу, которую он мне дал. Потом нерешительно подняла взгляд на «Властилинов жизни и смерти». Картина была скрыта тканью. Значит, я испытала оптическую иллюзию. Я заставила себя заговорить, улыбнуться – отбросить обуревавшие меня непривычные ощущения.

– Похоже, – начала я, и мой собственный голос звучал как чужой и откуда-то издалека, – похоже, синьор Челлини, ваше вино с востока оказалось для меня крепковато. Голова тяжелая, и я в некоем помрачении.

– Вы просто утомились, да и день жаркий, – ответил он невозмутимо. – И разве же это ПОМРАЧЕНИЕ – увидеть любимую картину?

Я вздрогнула. Но ведь картина действительно завешена тканью! Взглянула – никакой завесы, лица двух Ангелов ярче прежнего сияют на полотне! Что странно, я этому совсем не удивилась, хотя случись то же самое мгновением раньше, я бы, безусловно, поразилась и даже перепугалась. Туман в голове внезапно рассеялся, я все ясно видела, отчетливо слышала, и когда заговорила, голос мой прозвучал столь же полнозвучно, сколь тихим и глухим казался чуть раньше. Я остановила взгляд на картине и ответила с легкой улыбкой:

– Да уж, я и верно «улетела куда-то», как оно говорится, если не заметила этого, синьор! А ведь это ваш безусловный шедевр. Почему вы его не выставляете?

– И ВЫ еще спрашиваете? – Он подчеркнул голосом слово «вы», одновременно шагнув ближе и устремив на меня пронзительный взгляд темных немигающих глаз. И мне показалось, что некая могущественная внутренняя сила требует, чтобы я ответила на этот его вопрос словами, о которых ранее не помышляла и которые, когда я их произносила, для меня были почти что лишены смысла.

– Разумеется, – проговорила я медленно, будто повторяя урок, – вы не из тех, кто нарушает доверие, оказанное ему свыше.

– Отлично сказано! – отозвался Челлини. – Но вы утомились, мадемуазель. Au revoir! До завтра!

Он распахнул двери мастерской и шагнул в сторону, давая мне пройти. Я бросила на него вопросительный взгляд:

– Мне завтра прийти в то же время?

– Если вас это не затруднит.

Я озадаченно провела ладонью по лбу – мне казалось, что я должна высказать что-то еще, прежде чем уйти. Он терпеливо ждал, удерживая рукой портьеру у двери.

– Мне кажется, я должна вам что-то сказать на прощанье, – произнесла я наконец, заглянув ему в глаза. – Вот только, к сожалению, позабыла что.

Челлини невозмутимо улыбнулся:

– Не забивайте себе голову, мадемуазель. Я недостоин ваших усилий.

Тут перед глазами у меня будто мелькнула какая-то вспышка, и я воскликнула:

– Вот, вспомнила! Dieu vous garde <sup>7</sup>, синьор!

Он почтительно склонил голову:

– Merci mille fois, mademoiselle! Dieu vous garde – vous aussi. Au revoir <sup>8</sup>.

И учтиво, по-дружески пожав мне руку, он закрыл за мною дверь мастерской. Едва я осталась одна в коридоре, ощущение радости и умиротворения, которое я только что испытывала, начало понемногу ослабевать. Я не то чтобы впала в тоску, скорее на меня навалились вялость и усталость, ноги болели, как будто я отшагала много миль. Я отправилась напрямик к себе в номер. Посмотрела на часы: половина второго, в этот час в отеле обычно подавали обед. Миссис Эверард явно еще не вернулась с прогулки. Мне не хотелось идти к табльдоту одной, да и аппетита совсем не было. Я опустила шторы, чтобы отгородиться от блеска яркого южного солнца и, бросившись на постель, решила, что буду отдыхать до возвращения Эми. Я забрала из мастерской Челлини «Письма мертвого музыканта» и начала читать в надежде, что не засну за чтением. Но скоро поняла, что не могу сосредоточиться, да и мысли разбегаются. Постепенно веки сомкнулись, книга выпала из ослабевшей руки, и я почти сразу же погрузилась в безмятежный сон.

---

<sup>7</sup> Да хранит вас Господь (*фр.*).

<sup>8</sup> Большое спасибо, мадемуазель. Да хранит он и вас! До свидания (*фр.*).

### Глава III. Три видения

Розы, розы! Бесконечная гирлянда из царственных соцветий, красных и белых, а сплели ее сияющие пальчики крошечных существ с радужными крыльями, легких, как дымка лунного света, нежных, как пух одуванчика! Они обступают меня – на лицах улыбки, глаза светятся; они вкладывают конец розовой гирлянды мне в руку и шепчут: «СТУПАЙ ЗА НЕЙ!» Я с готовностью повинуюсь и пускаюсь в путь. Благоуханная гирлянда ведет меня через древесный лабиринт – раскидистые ветви вздрагивают, ибо в них порхают и поют птицы. Потом слышится шум воды: поток, несущийся невозбранно, срывается со скалы в бездну, грохотом возглашая собственную красоту, поднимая в воздух победоносные сполохи серебристых брызг. Как пляшут, искрятся, мерцают живые бриллианты! Как бы хотелось мне постоять и полюбоваться этой красотой, но нить из роз все тянется вперед, сладостные голоса все призывают: «СТУПАЙ ЗА НЕЙ!» Я иду дальше. Лес делается гуще, птички трели смолкают; свет тускнеет и блекнет. Вдалеке маячит золотой полумесяц, будто подвешенный в воздухе на незримой нити. Что это, молодая луна? Нет, ибо прямо на моих глазах полумесяц раскалывается на тысячи ярких искр, подобных блуждающим звездам. Они смыкаются, складываются в огненные буквы. Я напрягаю взор, дабы распознать заложенный в них смысл. Из искр составляется слово – ГЕЛИОБАС. Я читаю его. Произношу вслух. Розовая гирлянда распадается у моих ног, исчезает. Дивные голоса не звучат боле. Воцаряется полная тишина, полная тьма – светится одно лишь ИМЯ, написанное пылающим золотом во тьме небес.

Взору моему явлен просторный зал некоего собора. Могучие беломраморные колонны поддерживают высокий купол, расписанный фресками, с него свисают тысячи люстр, испускающих мягкий и ровный свет. Великолепный алтарь освещен, по нему неспешно шествуют священники в сияющих облачениях. Могучий орган сперва что-то бормочет себе под нос, потом исторгает из себя полнозвучную мелодию. Чистый и звонкий мальчишеский голос звучит в наполненном запахом ладана воздухе. «Credo» – и трубные серебряные ноты падают с подкупольной высоты, будто колокольчик звенит в чистом воздухе: «Credo in unum Deum; Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium»<sup>9</sup>.

По собору разносится эхо голосов, звучащих в ответ, я, невольно преклонив колени, повторяю слова песнопения. Слышу, как меняется тональность музыки, ноты радости превращаются в рыдания, в скорбный плач; орган содрогается, будто сосновый бор в бурю, «Crucifixus etiam pro nobis; passus et sepultus est»<sup>10</sup>. Вокруг разрастается тьма, голова плывет. Музыка умолкает, но в боковую дверь вливается яркое сияние, ко мне приближаются колонной по двое двадцать дев в белых одеждах и миртовых венках. Смотрят на меня взором, исполненным радости.

– Ты тоже одна из нас? – вопрошают они, потом устремляются к алтарю, где снова затеплился свет. Я слежу за ними с неподдельным интересом, слышу, как свежие юные голоса взывают в хвалениях и молитвах. Одна из дев – ее глубокие синие глаза излучают нежное сияние – отделяется от подруг и тихонько подходит ко мне. В руке у нее карандаш и грифельная доска.

– Пиши! – произносит она трепетным шепотом. – Пиши, да побыстрее! И то, что ты напишешь сейчас, станет ключом к твоей участи.

Я повинуюсь механически, движимая не своей волей, а некой неведомой силой, что действует внутри меня и вокруг. Я вывожу на доске одно-единственное слово, это имя, которое пугает меня, прежде чем я успеваю его дописать: ГЕЛИОБАС. И стоит мне его начертать,

---

<sup>9</sup> Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого (*лат.*).

<sup>10</sup> Распятого за нас, и страдавшего, и погребенного (*лат.*).

как густое белое облако скрывает собор от моих глаз, дивная дева исчезает, вновь опускается тишина.

Я вслушиваюсь в уверенное звучание мелодичного голоса, который, судя по размеренности, что-то читает или декламирует вслух. Вижу комнатку, меблированную очень скудно, а за столом, заваленным книгами и рукописями, сидит человек с благородными чертами лица и властной осанкой. Он в самом расцвете сил, и ни одна серебряная нить не оттеняет роскошный сумрак его волос; на лице ни морщины; лоб не изборожден следами забот; глаза, глубоко посаженные под тяжелыми бровями, изумительно ясного и пронзительного голубого цвета, взгляд сосредоточенный и пристальный – такой бывает у тех, кто привык вглядываться в морскую даль. Ладонь его лежит на массивной открытой книге; он читает, выражение лица собранное и серьезное, как будто он проговаривает вслух собственные мысли с убежденностью и напором оратора, сознающего, что возвещает истину.

– Главной опорой вселенной служит Закон Любви. Всеми ветрами, приливами, сменой времен года, рождением цветов, ростом лесов, свечением солнца, безмолвным сверканием звезд руководит великий незримый Протекторат. Во Всем сущем разлито великое и безграничное Благо. Великое Вечное Сострадание утешает любое горе, искупает любой грех. Тот, кто подвесил в воздухе планеты и повелел им вращаться до скончания времен – Он, Корона Абсолютного Совершенства, не глух, не слеп, не пристрастен и не жесток. Для Него гибель самой крошечной певчей птицы событие столь же великое или незначительное, сколь и кончина властелина мира. Для Него несвоевременное увядание безвинного цветочка такая же трагедия, как и упадок могущественной империи. В первую молитву ребенка Он вслушивается с тем же ласковым терпением, что и в хоровые воззвания тысяч верующих. Ибо во всем и в сути всего, от солнца до песчинки, есть Его доля, малая или великая, доля Его совершенного бытия. Если Он возненавидит Свое творение, тем самым Он возненавидит и Себя; а не бывает такого, чтобы Любовь испытывала ненависть к Любви. Выходит, Он любит все Свое творение, и в силу того, что любовь может быть совершенной, только если она включает в себя Жалость, Прощение и Терпимость, Он жалеет, прощает и терпит. Готов ли обычный человек на самопожертвование ради своего ребенка или друга? Так разве не пойдет Любовь Бесконечная на самоотречение – и даже на самоуничужение в своем неизмеримом величии? Или откажем мы Богу в тех добродетелях, каковые прозреваем в Его творении, Человеке? О душа моя, возрадуйся, что ты пронзила покровы Иномирного, что увидела и познала Истину! Что ведомы тебе стали Смысл Жизни и Воздаяние в Смерти; возрадуйся – и одновременно восплачь, ибо утешение, которое ты обрела, дано тебе даровать всего лишь нескольким иным душам!

Я слушаю, зачарованная голосом и обликом говорящего, напрягаю слух, чтобы не пропустить ни слова, слетевшего с его уст. Он поднимается, встает во весь рост, простирает руки, будто для торжественного наставления.

– Азуль! – восклицает он. – Вестница моей участи, дух, повелевающий стихиями, способный оседлать тучу и воссесть на краю молнии! Прошу тебя, во имя горящей во мне электрической искры, твоего Сродственного Пламени, пошли ко мне и эту несчастливую человеческую душу; помоги обратить беспокойство ее в покой, колебания в уверенность, слабость в силу, тоскливое заточение в свет свободы! Азуль!

Голос умолкает, простертые руки медленно опускаются, и постепенно, постепенно неизвестный разворачивается ко мне лицом. Смотрит в упор – прожигает пристальным взглядом, обволакивает странной, но ласковой улыбкой. И все же я объята неизъяснимым ужасом, я дрожу и пытаюсь отвернуться от его испытующего магнетического взгляда. Вновь звучный и мелодичный голос разрывает тишину. Он обращается ко мне:

– Иль страшишься ты меня, дитя мое? Или я не друг тебе? Иль неведомо тебе имя ГЕЛИОБАС?

Услышав это слово, я вздрагиваю, задыхаюсь. Крик рвется наружу, но не вылетает, как будто тяжелая рука закрыла мне рот, непомерный груз прижимает меня к земле. Я бьюсь, пытаюсь побороть незримую Силу – и понемногу, понемногу беру верх. Еще усилие! И вот победа – я пробуждаюсь!

– Ну надо же! – произносит знакомый голос. – Крепко же вы заснули! Я вернулась домой около двух, умирая от голода, и увидела, что вы свернулись тут клубочком «в младенческом розовом сне», как поется в песенке. Так что я отыскала полковника, и мы пообедали – будить вас сочли грехом. Только что пробило четыре. Выпьем чаю прямо здесь?

Я посмотрела на миссис Эверард и улыбнулась в знак согласия. Я проспала два с половиной часа и, похоже, все это время мне что-то снилось, причем сны обладали отчетливостью яви. Я и сейчас не вышла из дремотного состояния, но прекрасно отдохнула, и меня объял блаженный покой. Подруга позвонила, чтобы нам принесли чай, потом она развернулась и посмотрела на меня с удивлением.

– Что вы с собою сделали, дитя мое? – спросила она, помедлив, подходя к моей постели и внимательно в меня вглядываясь.

– О чем вы?

– С виду вы другой человек. Когда мы утром расстались, вы были бледной и изнуренной – этакая хрупкая болящая на пороге смерти; теперь же глаза ваши сияют, на щеках дивный румянец, да и губы алеют как положено. Хотя, может быть, – тут оно явно встревожилась, – может быть, у вас лихорадка?

– Вряд ли, – ответила я лукаво и протянула руку, чтобы она ее пощупала.

– Никакой лихорадки, – удовлетворенно подтвердила Эми. – Ладонь влажная, прохладная, пульс бьется ровно. Да и вид у вас бодрый. Не удивлюсь, если вы решите сходить сегодня вечером на танцы.

– Танцы? – удивилась я. – Какие танцы, где?

– Видите ли, мадам Дидье – наша жизнерадостная кокетка-французенка, с которой мы ездим кататься, – нынче вечером устраивает настоящий бал. . .

– Ганс Брайтман балъ устроиль? <sup>11</sup> – вставила я с шутливой серьезностью.

Эми рассмеялась:

– Ну, может, нечто в таком духе, не стану вам перечить. Как бы то ни было, она наняла оркестр и заказала чрезвычайно изысканный ужин. На бал собирается половина постояльцев, но приглашение получили и те, кто не живет в отеле. Она спросила, сможем ли мы прийти – мы с полковником и вы. Я ответила, что могу ручаться за нас с полковником, а вот за вас нет, ибо вы плохо себя чувствуете. Но если вы явитесь такой, какой выглядите сейчас, никто и не поверит, что вам неможется. Чаю, Альфонс!

Это она обратилась к чрезвычайно любезному лакею, которого к нам приставили, – он как раз постучал в дверь, чтобы выяснить, что угодно «мадам».

Поскольку мне совершенно не верилось в слова подруги о том, что внешне я изменилась к лучшему, я встала с кровати, подошла к зеркалу на туалетном столике и решила оценить все самостоятельно. И едва не отшатнулась от собственного отражения. Темные круги под глазами, мучительные морщины, уже много месяцев не сходявшие со лба, горестно опущенные кончики губ, из-за которых я выглядела такой болезненной и нездоровой, – все пропало, точно по волшебству. Розовые щеки, смеющиеся и сияющие глаза, словом, мне улыбнулось такое счастливое и жизнерадостное юное лицо, что я засомневалась, себя ли вижу.

– Ну вот! – удовлетворенно воскликнула Эми, глядя, как я откидываю со лба спутавшиеся волосы, чтобы разглядеть себя повнимательнее. – Что я вам говорила? Просто изумитель-

---

<sup>11</sup> Отсылка к одноименному стихотворению Чарльза Годфри Лиланда (1824–1903), фольклориста, писателя и журналиста; его цикл «Баллады Ганса Брейтмана» написан как пародия на речь немца, плохо говорящего по-английски.

ные перемены! И я знаю, в чем дело. Вам день ото дня становилось все лучше благодаря здешнему дивному воздуху и прекрасным пейзажам, а долгий полуденный сон довершил процесс исцеления.

Я улыбнулась в ответ на ее восторги, однако вынуждена была признать, что, судя по моему виду, Эми совершенно права. Теперь никто бы не поверил, что меня терзает – или терзала – болезнь. Я молча распустила волосы, расчесала, уложила их перед зеркалом, но мысли мои были заняты другим. Я отчетливо помнила все, что произошло в мастерской у Рафаэлло Челлини, а еще отчетливее – каждую подробность всех трех моих сновидений. Запомнила я и ИМЯ, лейтмотив каждого из трех, однако чутье твердило, что нельзя произносить его вслух. Мелькнула мысль: «Может, взять карандаш и записать его – вдруг забудется?», но чутье тут же возразило: «Нет». Жизнерадостная болтовня Эми журчала подобно ручейку, я же тем временем раздумывала над событиями дня.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.